

Дина Рудина

У ангела



Малая проза (Эксмо)

Дина Рубина
У ангела

«ЭКСМО»
1996-1998

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубина Д. И.

У ангела / Д. И. Рубина — «Эксмо», 1996-1998 — (Малая проза (Эксмо))

Три повести (которые сама Дина Рубина именует маленькими повестями) были написаны в первое и самое трудное десятилетие эмиграции. Абсолютно разные, они имеют некий общий знак, как именную печать художника, – образ ангела; странный, парадоксальный, порой чуть ли не издевательский. «Образ ангела, литературного ангела, ангела-хранителя, просто прохожего и едва ли не бомжа – один из моих тотемов в прозе, очень значимый для меня». Так, в повести «Камера наезжает!» ангел-хранитель предстает в образе лагерного охранника, того, что при попытке героини к бегству «из зоны, именуемой «жизнью», хватает ее и тащит по жизненному этапу. А в повести «Во вратах Твоих» героине без ангела не выжить: опасна и трудна жизнь человека, растающего в новую родину. Вот только там ангел является в образе карнавальном, утешая и веселя. Внезапно оказавшаяся на границе жизни и смерти героиня «Высокой воды венецианцев» поселяется в отеле «Аль Анжело», ставшем для нее судьбоносным. Есть, есть Тот, кто посылает нам спасение. Повести 90-х поражают разнообразием тональностей и ритмов: лирические отступления чередуются с экспрессивными монологами, стремительная фабула – с философскими размышлениями, синкопы диалектов – с плавностью правильной речи.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Рубина Д. И., 1996-1998

© Эксмо, 1996-1998

Содержание

Предисловие Дины Рубиной к книге «У ангела»	7
Три повести	7
1. Когда поднимается вода...	8
2. «Это теперь твоя компания...»	10
3. Так и не расстались...	12
Камера наезжает!	15
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Дина Рубина У ангела

© Рубина Д., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Предисловие Дины Рубиной к книге «У ангела»

Три повести

Люблю я этот жанр: ладный, легкий, быстроходный – как небольшая, умело сработанная мастерами шхуна, – жанр так называемой «маленькой повести». Это не рассказ, в котором надо спрессовать в десять-пятнадцать страниц «сюжет-героев-завязку-развязку-всё!», и не вольготная многостраничная бодяга, где можно расслабиться и тянуть тягучие мысли героя на двадцать страниц, зная, что понятие «повесть» спишет все длинноты по ведомству «глубокой психологичности». И это, опять-таки, не роман – многопалубный лайнер, с двумя тысячами пассажиров, обслуживать которых должны еще две тысячи разных мелких персонажей, включая автора, – ужасная, многолетняя морока!

Нет, маленькая повесть – это...

Словом, это три такие повести, собранные под обложкой данной книги. И о каждой из них мне есть что вспомнить.

1. Когда поднимается вода...

Довольно часто на встречах и в интервью меня спрашивают о том, как возникают, как приходят к автору названия книг. Случается ли над ними долго думать или они являются как озарения? Долго ли пребывает текст неназванным, как подкидыш на ступеньках приюта, или его имя, как имя долгожданного ребенка, смиренно поджидает момент рождения рассказа, повести, романа – дабы поставить последнюю точку, вернее, самый яркий, завершающий книгу штрих?

А я, признаться, не всегда помню – как и при каких обстоятельствах родилось то или другое название, и в ответах обычно бываю уклончива: мол, идея вещи предполагала... основная мысль просвечивала... перипетии сюжета диктовали...

Но вот история одного названия всегда вспоминается мне во всех деталях, в звуках и запахах дня, в окружении такой красоты, которая оставляет в памяти след на всю жизнь.

Я говорю, конечно же, об Италии.

Впервые мы оказались в Италии в 1998 году, и маршрут проложили себе такой, какой выбирают все новички: Рим – Флоренция – Венеция. Правда, мой художник еще втиснул в серединку Равенну, ничем не примечательный, провинциальный, осеняемый гулом воскресных колоколов городок... если б не легендарные мозаики Сан-Витале, к которым, как ловцы жемчуга на глубину, устремляются понимающие люди со всего мира.

Это путешествие завершила Венеция, поразившая нас с той минуты, когда ночью мы вышли из здания вокзала и перед нами, в лучистом свете фонарей, возникли причал с вапоретто и первые палаццо, похожие на изукрашенные ларцы.

Мы пробыли в Венеции целую неделю, и все эти дни слились у меня в какой-то безумный салют непрерывного восторга. Впоследствии мне приходилось бывать в Венеции в разное время года, вдвоем с дочерью, с подругой и опять с мужем... Этот маленький город бесконечен, неисчерпаем, непостижим, даже когда ты неплохо ориентируешься в густой сети его переулков, каналов, набережных и подворотен. Но в тот наш первый приезд мы, вероятно, похожи были на истоптавших ноги безумных пилигримов, в поисках очередной церкви, собора, картины, вида...

Понятно, что к вечеру мы буквально падали с ног и просто валялись у себя в номере, почитывая дешевый путеводитель (дорогой и хороший у нас украли в Риме вместе с сумкой). И так, листая путеводитель, явно состряпанный кем-то из местных предпринимателей, халтурно переведенный каким-нибудь студентом факультета славистики, я наткнулась на очередной ляп.

– Слушай! – воскликнула я. – Ты только послушай, как они перевели «аква альта». Вместо того чтобы перевести это как нормальное «наводнение», они так и пишут: «высокая вода венецианцев»! Нет, ты слышал такое?! Просто анекдот: «высокая вода венецианцев»!..

В третий раз произнеся эту фразу саркастическим тоном, я умолкла, потому что с необычайной ясностью вдруг поняла, что это – название повести. Не рассказа, не романа, а именно повести – маленькой и трагически насыщенной, как все насыщено, все пропитано в Венеции драмой и красотой. В этом названии была спрятана какая-то история, которую еще надо было суметь извлечь из воздуха, приманить, сотворить... Я вскочила и стала метаться по комнате, без конца бормоча: «Высокая вода венецианцев»... «Высокая вода венецианцев»... Я уже знала, что в дело пойдет все, что меня окружает: старая мебель в нашем номере, разошедшиеся ставни высоких окон, изъеденные мутной пленкой зеркала, плеск воды внизу, в канале, окрики усталых гондольеров, ослепляющие витрины венецианского стекла, и даже портье за стойкой, и дождь, и мутные потоки воды на площади Сан-Марко...

Название было готово: оно дышало, оно звучало стихотворной строкой, оно ожидало рождения своего литературного текста...

Оставалось только написать повесть.

Я вернулась домой и написала ее.

2. «Это теперь твоя компания...»

Более четверти века назад я переселилась в маленькую, парадоксальную страну с весьма густым, пестрым и бурливым обществом, сотрясаемым скандалами, войнами и вечным противостоянием множества этнических общин. И чем дольше живу, тем, как говорила Алиса, «все страньше и страньше делается».

Одним из моих первых иерусалимских знакомств была встреча с поэтом Александром Воловиком. Он сказал:

– Во-первых, привыкни к тому, что все они были...

– Кто? – уточнила я. – И что значит – были?

– Ну, все они: Авраам, Сарра, Ревекка и прочие, а также все остальные – Иисус, Пилат, Иоанн Креститель... Просто – были. Существовали, действовали, ходили по этой земле. Это теперь твоя компания, хочешь ты этого или нет. Они будут возникать в самых неожиданных местах...

Так оно и получилось. Я не говорю уже о разных новоявленных пророках, тех, что в белых, расшитых «золотом» одеждах разгуливают по Иерусалиму иногда с посохом, иногда с лирой в руках: вопят пророчества, поют страшными голосами, проклинают на площадях правительство... Я не о плакатах с портретами все новых и новых мессий, порой весьма подходящих к известной нам с детства доске «Их разыскивает милиция»... Я о том, что утром тебе может позвонить приятельница-экскурсовод и между делом предложить присоединиться к прогулке по каменоломням царя Соломона.

– А где это? – спрашиваешь ты, хотя уже более двадцати лет живешь в этом удивительном и, похоже, бездонном городе.

– Да под Старым городом, – отвечают тебе. – Помнишь, небольшая железная дверь в крепостной стене, недалеко от Цветочных ворот?

– Как?! – искренне восклицаешь ты. – Я думала, это дверь в какую-нибудь технически-электрическую подсобку.

– Ну, да! – усмехается приятельница-экскурсовод. – Это вход в систему карстовых пещер, в которых Соломон добывал камень для Первого храма и по которым царь Цедеккия бежал от Навуходоносора в Иерихон. Но там его поймали, убили на его глазах всех его детей, а самого ослепили, после чего угнали в плен в Вавилон. Вот сейчас эти пещеры опять открыли для туристов...

И ты идешь, и заворуженно смотришь на шербатые своды, хранящие следы ударов кирки Соломоновых каменотесов, иходишь в Зал заседаний Великой масонской ложи, в котором еще в середине XIX века проходили-таки эти самые заседания этой самой ложи... И удивляешься вновь и вновь тому, что «все они тут, рядом, – за забором, за поворотом, в крайнем случае, за горкой»...

Писателю здесь раздолье. Надо только уметь разговорить собеседника, чувствовать, за какую ниточку потянуть, чтобы и узел судьбы развязать, и не оборвать ненароком нить памяти, – что непросто. Израильяне, прошедшие лагеря, – часть народа, стремительно сократившаяся за последние годы, – те предпочитают молчать о прошлом. Но иногда вдруг вырвется несколько слов, от которых сожмется сердце.

* * *

– Знаете, мне было 10 лет, когда началась война, – как бы между делом замечает известный израильский композитор Яков (Янек) Холландер на приеме в посольстве.

Мы только что «отоварились» у фуршетного стола и стоим с бокалом в одной руке и полной тарелкой в другой...

– Я прошел 12 лагерей, «марши смерти»... и, несмотря на все ужасы, не помню, чтобы я плакал. Но есть одно ужасное воспоминание, один из самых тяжелых моментов тех лет. Однажды на Рождество охранник подарил мне кусок пирога. Я хотел съесть половину, а вторую отнести больному брату. Но этот человек предупредил, что, если меня поймают с пирогом, я могу прощаться с жизнью. Уж лучше съесть его сейчас, немедленно, целиком... И я ел этот вкуснейший пирог, и плакал, как никогда в жизни. Никогда прежде и никогда потом я не чувствовал себя таким виноватым перед братом!.. Прошло столько лет, но, вспоминая этот эпизод, я и сейчас прилагаю немалые усилия, чтобы проглотить горький комок в горле, хотя мой брат жив, здоров и вполне благополучен...

А это просто история Овадьи, греческого еврея из Салоников. Я услышала ее в очереди к ортопеду в нашей поликлинике. Во время войны он оказался в Освенциме и встретил там девушку, как говорит он – «неземной красоты». Звали ее Ализа, и она тоже была из Салоников. Он влюбился в нее и все повторял, что они обязательно поженятся, если выживут... Встретились они уже после войны, на Кипре, в лагере для интернированных.

– Ты помнишь, что мы женимся? – сказал он.

– Я не могу за тебя выйти, – отвечала она. – Ты потерял всю семью, а я не смогу иметь детей. Мне сделали операцию в Освенциме.

– Я не хочу детей, Ализа, ты слышишь?! – крикнул он. – Я хочу, чтобы ты стала моей женой!

Тогда она попросила его подписать официальный документ о том, что он знает о ее бесплодии и тем не менее собирается связать с ней судьбу... Они поженились и перебрались в Палестину, поселились в центре страны... А вскоре Ализа забеременела! И тогда она вспомнила глаза того врача, что склонился над ее лицом, когда она очнулась после наркоза. «Придет день, и ты меня вспомнишь», – сказал этот немец. Он был в маске, она даже не видела его лица...

– Видимо, даже этот палач пожалел девушку, – говорит Овадьи, – за ее красоту. Он удалил ей только один яичник...

– И... кто же у вас родился? – спрашиваю я.

– Сначала дочь, – отвечает он, улыбаясь своим мыслям. – А вообще у нас пятеро детей...

* * *

Тот же Саша Воловик, в первые дни нашей здешней жизни исполнявший роль Вергилия по всем кругам израильского общества, – человек усмешливый и до известной степени циничный, – сказал мне:

– А вот с израильянами будь начеку. В большинстве своем это мошенники, идиоты и упрямые кретины... – После чего улыбнулся и добавил: – Но есть среди них чертовски обаятельные люди!

Добавлю от себя, что за пару десятков лет мне попадались как те, так и эти, но с жизнью меня примиряли здесь именно те самые, чертовски обаятельные, импульсивные, улыбчивые и горячие люди, с непредсказуемой реакцией и невероятными судьбами, с которыми хочется спорить, которым хочется возражать, с которыми приходится ругаться... Но, путешествуя по европейским странам, восхищаясь европейской упорядоченностью и сдержанностью в человеческих отношениях, ты вновь и вновь мысленно говоришь себе, что никогда не променяла бы «свой израильский бардак» на покой и порядок чопорной Европы.

3. Так и не расстались...

Бесчисленное количество раз в интервью отвечала я на вопрос о том, почему я живу в Израиле. Его задают мне самые разные журналисты самых разных изданий. Иногда в подтексте скрыта обида – как же так, русский писатель, проблемы русской литературы... ну и прочее. Вначале я пыталась подробно – с самого начала – разьяснять этот вопрос, рассказывала историю моей эмиграции, старалась передать впечатления и чувства того периода моей жизни... Потом поняла, как правильнее отвечать.

– Понимаете, – говорю я, – мне повезло: я с этой страной совпала по... жанру. Я работаю в жанре трагифарса, а эта страна в нем живет.

И если вдуматься – в этом ответе наиболее полно выражена правда.

Помню первые дни после приезда: чувство непреходящей оторопи. От всего – от внешнего (расхристанного) вида людей, от слишком свободной манеры общаться, от слишком громких голосов, от поначалу коробившей меня фамильярности. Ну, как, как это так, что чиновник в банке называет тебя – «мамочка»?!

И вот прошло двадцать лет, и я предпочитаю в жару выходить на улицу в свободном рубище, которое назвать платьем можно с огромной натяжкой, в сандалиях, смахивающих на пляжные, в широкополой шляпе... Причем не стесняюсь появляться в этом балахоне не только в соседней лавочке, но и на почте, и у зубного врача, и – о ужас! – на заседании редколлегии «Иерусалимского журнала», где остальные мои редколлеги одеты примерно так же, как я...

При этом «старые» израильтяне, те, кто приехал в семидесятых, покачивая головами, говорят о том, как изменился Израиль... Эх, вот раньше... раньше можно было вообще не запираеть двери... Вот раньше тебе стоило поднять на шоссе руку, и тебя бесплатно везли на другой конец страны... Вот раньше...

– Это что, – подхватывают те, кто приехал сюда в пятидесятых. – Мы помним еще времена, когда незнакомые люди на улицах танцевали под аккордеон – просто так, вечерком, для развлечения.

Между прочим, эти танцы застали и мы. Я помню, как в течение минуты собрались пары на мосту, вокруг аккордеониста, и закружились в вальсе под мелодию... «Синенького скромного платочка»...

– Знаешь эту песню? – спросил меня какой-то старик рядом.

– Знаю, – отозвалась я.

– Это народная израильская песня, – с удовольствием подтвердил он.

Я расхохоталась:

– Это известная советская песня!

– Ты с ума сошла? – обиделся он. – Значит, советские украли у нас мелодию!

И вот так всегда. На этой земле на протяжении всей коротенькой современной истории страны все израильское так круто замешано на русском, что диву даешься. И совсем не удивляешься, прочитав, что первое правительство Израиля заседало по многу часов, говоря, само собой, на иврите. Но когда люди уставали, они переходили с иврита на... русский: на родном языке говорить, конечно, легче, чем на выученном.

С другой стороны, путешествуя, не устаешь удивляться – какое количество израильтян разбросано сегодня по всему миру. С ними, опять-таки, могут сравниться только русские.

Моя приятельница с семилетней внучкой поехала в Лондон. Гуляя вокруг Букингемского дворца, они увидели в будке пожилого роскошного двухметрового гвардейца – седые подкрученные кверху усы, окладистая белоснежная борода – холеное холодное лицо истин-

ного британца. Маленькая израильтянка Ника подбежала к будке и воскликнула по-английски:

– Я приехала из Израиля. Выйди из будки, я хочу с тобой сфотографироваться!

Гвардеец сказал:

– Это невозможно. Я стою на часах. Охраняю королевский дворец. Если хочешь, зайди сюда и стань рядом со мной, а твоя бабушка нас сфотографирует.

И когда Ника по-английски поблагодарила его, присев в глубоком книксене (она занимается балетными танцами), великолепный британец наклонился, поднес ее ручку к своим белоснежным усам, поцеловал и прошептал еле слышно:

– Ай’м фром Изреел ту...

Здесь каждую минуту ты готов услышать или увидеть нечто парадоксальное, уморительное, яркое, невысказанное...

Здесь каждую минуту ты готов услышать трагическую весть и принять ее, сцепив зубы: ничего не попишешь – трагифарс, роковое смешение жанров.

На увеселительной поездке на пароходе случайно разговорилась с пареньком. Выглядит девятиклассником. Выясняется: боец десантных войск, дважды входил в Дженин, воевал, терял друзей. Рассказывает, как погиб его друг: пуля попала в гранату, привязанную на пояс. И почти сразу с легкой улыбкой рассказывает о троих его товарищах, похищенных террористами ХАМАСа ночью; говорит о бессилии, ярости... (до рассвета солдаты не могли сделать ни шагу, представляя – что там делают с ребятами)...

Наконец, роняет:

– Оказалось – все обошлось.

– Они остались живы?! – вскрикиваю я.

– Нет, конечно, нет. Но эти выкрали их уже мертвыми.

Он смотрит, как вода бежит за винтом корабля, ветер ерошит его кудрявый чуб. И он добавляет все с той же улыбкой:

– Вы не представляете, какое испытываешь облегчение, когда узнаешь, что твой друг всего лишь убит...

Больше двадцати лет я живу тут, на библейской земле трагифарса, иногда задумываюсь: почему так близко воспринимают ее именно репатрианты из России? Почему так болезненно, так требовательно любят ее, и ненавидят, и превозносят, и презирают? Может, потому, что слишком часто эта страна напоминает им другую, ту, что они покинули, так до конца с ней и не расставшись?..

* * *

Три небольшие повести, вошедшие в эту книгу, написаны в разные годы, в которые мне было по-разному хорошо и по-разному плохо. Когда человеку хорошо, он отлично обходится с жизнью собственными средствами и привычками. Когда плохо, он начинает озираться вокруг, а иногда даже задирает голову в поисках, ну, не Бога, – к чему беспокоить высокое начальство! – но, скажем, какого-то более мелкого, однако симпатичного и сострадательного персонажа из той запредельной канцелярии, в которой мы мало что понимаем, хотя и обращаемся бесконечно с запросами и затеями. И вот, этот мелкий, симпатичный, тот, кто и сам не без греха – а иначе его не приставили бы к такой возмутительной личности, как автор, – он может и пособить, оберечь может в особо тяжкую минуту. А то и просто дать

хорошего тумака, который испокон веку являлся лучшим средством в обращении с психами, алкоголиками и нашим братом, творческой личностью.

Я поэтому и книгу так назвала – «У ангела».

Дина Рубина

Камера наезжает!

Своего ангела-хранителя я представляю в образе лагерного охранника – плешивого, с мутными испитыми глазками, в толстых ватных штанах, пропахших табаком и дезинфекцией вокзальных туалетов.

Мой ангел-хранитель охраняет меня без особого рвения. По должности, согласно инструкции...

Признаться, не так много со мной возни у этой конвойной хари. Но при попытке к бегству из зоны, именуемой «жизнью», мой ангел-хранитель хватается за шиворот и тащит по жизненному этапу, выкручивая руки и давая пинков. И это лучшее, что он может сделать.

Придя в себя, я обнаруживаю, как правило, что пейзаж вокруг прекрасен, что мне еще нет двадцати, двадцати шести, тридцати и так далее.

Вот и сейчас я гляжу из своего окна на склон Масличной горы, неровно поросший очень старым садом и похожий на свалывшийся бок овцы, и думаю о том, что мне еще нет сорока и жизнь бесконечна...

* * *

А сейчас я расскажу, как озвучивают фильм.

Несколько кадров отснятого материала склеивают в кольцо и пускают на рабочий экран.

В небольшой студии сидят:

Режиссер, он же Творец, он же Соавтор; укладчица со студии Горького, приглашенная для немислимого дела – при живом авторе сценария сочинять диалоги под немую артикуляцию актеров, не учивших ролей и потому на съемках молотивших галиматью;

второй режиссер фильма – милейший человек, так и не удосужившийся прочесть сценарий, как-то руки не дошли;

оператор в белой майке с надписью по-английски: «Я устала от мужчин»;

художник фильма, если он не настолько пьян, чтобы валяться в номере гостиницы;

редактор фильма, в свое время уже изгадивший сценарий, а сейчас вставляющий идиотские замечания;

монтажер, пара славиков-ассистентов неопределенных занятий, крутившихся на съемках под ногами;

приблудный столичный актер, нагрывший в провинцию – намолотить сотен пять;

прочие случайные лица...

Позади всех, бессловесный и подавленный, сидит автор сценария, написанного им некогда написанной им же повести.

Он уже не пытается отождествить физиономию на экране с образом героя его произведения и только беззвучно твердит себе, что он не автор, а дерьмо собачье, тряпка, о которую все вытирают ноги, и что пора встать наконец и объявить, что он – он, Автор! – запрещает фильм своим Авторским Правом. И полюбоваться – как запляшет вся эта камарилья...

Но автор не встает и ничего не объявляет, потому что уже вступил в жилищный кооператив и через месяц должен вносить пай за трехкомнатную квартиру...

Так вот, не знаю почему, но лучше всего на беззвучную артикуляцию актера ложится русский мат. Любое матерное ругательство как влитое укладывается в немое движение губ. Это проверено практикой.

Вам подтвердит это любой знакомый киноактер.

Боюсь, читатель решит, что я пишу юмористический рассказ. А между тем я давно уже не способна на то веселое напряжение души, которое и есть чувство юмора и напоминает усилия гребца, идущего в канавке вверх по реке... В последние годы я все чаще отдаюсь течению жизни, я сушу весла и просто глазею по сторонам. Там, на берегах этой речки, все еще немало любопытного.

Собственно, для того чтобы рассказать, как озвучивают фильм, я должна рассказать сначала, как его снимают и даже – как пишут сценарий. Не потому, что это интересно или необходимо знать, а потому, что одно влечет за собой другое.

Пожалуй даже, я расскажу вообще все с самого начала.

* * *

У меня когда-то был приятель, милый порывистый мальчик, – он сочинял песни и исполнял их под гитару затаенно-мужественным баритоном.

Он и сегодня жив-здоров, но сейчас он адвокат, а это, согласитесь, уже совсем другой образ. Кроме того, он уехал в другую страну.

Вообще-то я тоже уехала в другую страну.

Откровенно говоря, мы с ним опять живем в одной стране, но это уже другая страна и другая жизнь. И он адвокат, солидный человек – чего, собственно, и добивалась его мама.

А тогда, лет пятнадцать назад, она добилась, чтобы сын поступил на юридический. Благословенно одаренный мальчик, он поступил, чтобы мать отстала, но продолжал сочинять стихи, писать на них музыку и исполнять эти песни под гитару на разных слетах и фестивалях в горах Чимгана. Все помнят это обаятельное время: возьмемся за руки, друзья.

Одну из песен он по дружбе посвятил мне. Начиналась она так: «Вот на дороге черный бык, и вот дорога на Мадрид. Как на дороге тяжело взлетает пыль из-под копыт» – и далее, со звоном витражей, с боем колоколов... чрезвычайно густо.

Я так подробно рассказываю, чтобы объяснить – что это был за мальчик, хотя в конечном итоге его мама оказалась права.

Когда он как-то ненатужно защитил диплом юриста, продолжая петь, искриться и глубоко дышать разреженным воздухом фестивальных вершин, тут-то и выяснилось, что распределили его в одно из районных отделений милиции города Ташкента – в криминальном отношении не самого благополучного города на свете.

Тепло в Ташкенте, очень теплый климат. С февраля к нам сползлась уголовная шпана со всей простертой в холодах страны.

Так вот – Саша... Да, его звали Саша, впрочем, это не важно. С возрастом я устаю придумывать даже имена.

Он очнулся от песен следователем по уголовным делам отделения милиции, скажем, Кировского района города Ташкента: ночные дежурства с выездами на место происшествия, выстрелы, кровь на стенах, допросы, свидетельские показания, папки, скоросшиватели, вещественные доказательства, опознания личности убитой... – месяца на два он вовсе пропал из моей жизни.

Когда же появилась вновь, я обнаружила гибрид бардовской песни с уголовной феней. В своем следовательском кейсе он таскал подсудимым в тюрягу «Беломор».

Как всякий артистически одаренный человек, он был отчаянным брехуном. Загадочный, зазывно-отталкивающий мир открывался в его историях: тюремная параша, увитая волшебным плющом романтики. Какие типы, какая речь, какие пронзительные детали!

Разумеется, я написала про все это повесть – я не могу не взять, когда плохо лежит. Правда, перед тем как схватить, я поинтересовалась, намерен ли он сам писать. Забирай, разрешил он великодушно, когда я еще соберусь! (И в самом деле – не собрался никогда.)

Несколько раз я ездила с ним в тюрьму на допросы – нюхнуть реалий. Кажется, он оформлял эти экскурсии как очные ставки...

Я уже не помню ничего из экзотических прогулок по зданию тюрьмы – любая экскурсия выветривается из памяти. Помню только во внутреннем дворе тюрьмы старую белую клячу, запряженную в телегу, на которой стояли две бочки с квашеной капустой, и – высокий сильный голос, вначале даже показавшийся мне женским, из зарешеченного окошка на третьем этаже:

Те-чет ре-еченька по песо-очечку,
Бережочки мо-оет,
Воровской парень, городской жулик
Начальника про-осит...

То ли акустика закрытого пространства сообщала этому голосу такую льющуюся силу, то ли и впрямь невидимый певец обладал незаурядными голосовыми связками, но только тронула меня в те мгновения эта песня, сентиментальная до слюнявости (как все почти бластные песни).

Ты начальник, винтик-чайничек,
Отпусти до до-о-му...
Видно, скурвилась, видно, ссучилась
Милая зазно-оба...

Несколько минут, задрав головы, мы с Сашей слушали эту песню, удивительно кинематографически смонтированную в кадр с грязным двором, с бочками воняющей прокисшей капусты, с розовым следственным корпусом, по крыше которого прогуливались жирные голуби.

- Сорокин тоскует, – проговорил мой приятель.
- А голос хорош! – заметила я.
- Саша усмехнулся и сказал:
- Хорош. Убийство путевого обходчика при отягчающих обстоятельствах...

Короче, я написала повесть. Она получилась плохой – как это всегда у меня бывает, когда написанное не имеет к моей шкуре никакого отношения, – но, что называется, свежей. Друзья читали и говорили: не фонтан, старуха, но очень свежо!

В повести действовал следователь Саша (я и тогда поленилась придумать имя), порывистый мальчик с интеллигентной растерянной улыбкой; его друг и сослуживец, загнанный в любовный треугольник; еврейская мама распалась на бабушку и дедушку, папу я ликвидировала. Ну, и далее по маршруту со всеми остановками: любовь, смерть друга, забавные и острые диалоги с уголовниками, инфаркт деда... Словом, свежо.

Повесть была напечатана в популярном московском журнале, предварительно пройдя санобработку у двух редакторов, что не прибавило ей художественных достоинств, наоборот – придало необратимо послетифозный вид.

В те годы нельзя было писать о наркоманах, венерических заболеваниях, проституции, взятках, о мордобоях в милиции и о чем-то еще, не помню, – что поначалу в повести было, а потом сплыло, ибо мое авторское легкомыслие в ту пору могло соперничать лишь с авторским же апломбом.

Нельзя было почему-то указывать местоположение тюрем, звания, в которых пребывали герои, и много чего еще. Для этого по редакции слонялась специальная «проверяльщица», так называлась эта должность, – тихая старуха проверяльщица, которая стерегла мое появление в редакции, зазывала меня в уголок и говорила заботливым голосом:

– У нас там накладка на шестьдесят четвертой странице... Там взяли фарцовщика с пакетиком анаши в носке на правой ноге. Это не пройдет...

– А на левой пройдет? – спрашивала я нервно.

– Ни на какой не пройдет, – добросовестно подумав, отвечала она и вдруг озарялась тихой вдохновенной улыбкой: – А знаете, не переписать ли нам этот эпизод вообще? Пусть он просто фарцует носками. Это пройдет.

...Словом, как раз тогда, когда повесть следовало отправить в корзину, она появилась на страницах журнала.

* * *

Недели через три мне позвонили.

– Лё-о, Анжелла Фаттахова, – проговорили в трубке домашним, на зевочке, голосом. – Мне запускаться надо, да... Аль-лё?

– Я вас слушаю.

– Я запускаюсь по плану... Роюсь тут в библиотеке, на студии... Ну и никто меня не удовлетворяет... – Она говорила странно мельтешащим говорком, рассеянно – не то сейчас проснулась, не то, сидя в компании, отвлеклась на чью-то реплику. – Лё-у?

– Я вас слушаю, – повторила я, стараясь придать голосу фундаментальную внятность, как бы намагничивая ее внимание, выравнивая его вдоль хода беседы. Так крепкими тычками подправляют внимание пьяного при выяснении его домашнего адреса.

– Ну, ты ведь мои фильмы знаешь?

Я запнулась – и от панибратского «ты», неожиданно подтвердившего образ пьяного, вспоминающего свой адрес, и от того, что впервые слышала это имя. Впрочем, я никогда не была своим человеком на «Узбекфильме».

– Смотрю, журналчик на диване валяется, мой ассистент читал... И фотка удачная – что за краля, думаю... Мне ж запускаться надо по плану, понимаешь, а никто не удовлетворяет... Симпатично пишешь... Как-то... свежо... Поговорим, а?

– Анжелка? – задумчиво переспросил знакомый поэт-сценарист. – Ну, как тебе сказать... Она не бездарна, нет... Глупа, конечно, как Али-баба и сорок разбойников, но... знаешь, у нее есть такой прием: камера наезжает... Наезжает, наезжает, и – глаза героя крупным планом... медленно взбухает в слезнике горячая капля, выползает и криво бежит по монгольской скуле. Штука беспроегрешная, в смысле воздействия на рядового зрителя, если умело наехать... Это все равно что на сирот-дебилов просить: только последняя сука не подаст...

Он подозвал официантку и заказал еще пива... Мы сидели на террасе недавно выстроенного кафе «Голубые купола». Это было странное сооружение, натужный плод современных архитектурных веяний с традиционно восточными элементами, например резьбой по ганчу. Венчали это ханское великолепие три и вправду голубых купола, глянцевито блестящих под солнцем.

Мы тянули пиво из кружек, сверху поглядывая на мелкий прямоугольный водоем, вымощенный голубой керамической плиткой – будто в воду опрокинули ведро синьки. По углам водоема вяло плевались четыре фонтанчика.

Мой знакомый поэт писал сценарии мультфильмов по узбекским народным сказкам. Сказками, как известно, Восток исстари кишит, тут только успевай молотить. Он и молотил: даже будучи сильно пьющим человеком, мой знакомый так и не ухитрился ни разу пропить до штанов. Окружающим это представлялось хоть и небольшим, хоть и бытовым, но все-таки чудом. Однако факт оставался фактом: человек пил на свои. То есть, в известном смысле, жил в соответствующем своему занятию сказочном пространстве...

– К тому же она – фигура номенклатурная, единственная женщина-режиссер-узбечка. Правда, она татарка... Ты, может, видела ее ленту – «Можжевательник цветет в горах»?

– А он разве цветет? – неуверенно спросила я.

– А тебя это гребет? – уверенно спросил он. – Так вот, там часа полтора героиня мудохается по горам с каким-то пасечником. Пчелки, птички, собачка вислоухая, цветочки раскрываются на замедленной съемке и прочий слюнявый бред... И камера наезжает, наезжает... Глаза героини крупным планом, выкатывается невинная подростковая слеза... Что ты думаешь – поощрительный приз на Всесоюзном фестивале! Я ж тебе говорю: на сирот-дебилов только последняя сука не подаст...

Он заказал себе еще пива, и я, опасаясь, что минут через двадцать он станет совсем непригоден к разговору на практические темы, поспешила спросить о главном:

– А сколько платят за сценарий?

– Зависит от категории фильма. Штук шесть...

– Ско-олько?

– Да-да, – кивнул он с выражением скромного удовольствия, – «из всех искусств для нас важнейшим...».

Кстати, тебе известен контекст этой знаменитой ленинской директивы? «Поскольку мы народ по преимуществу неграмотный, из всех искусств...» и далее по тексту...

Так что дерзай. Заработаешь, купишь квартиру, выберешься из своей собачьей конуры, пригласишь меня на новоселье, и – чем черт не шутит – может, я и трахну тебя от щедрот душевных.

По этой фразе я поняла, что мой знакомый поэт изрядно уже набрался: обычно с женщинами он держался корректно и даже скованно.

Но что касается квартирного вопроса, тут он попал в самую болезненную точку. Всю жизнь я жила в стесненных жилищных обстоятельствах. В детстве спала на раскладушке в мастерской отца, среди расставленных повсюду холстов.

Один из кошмаров моего детства: по ночам на меня частенько падал заказанный отцу очередным совхозом портрет Карла Маркса, неосторожно задетый во сне моей рукой или ногой.

Консультацию по вопросам кинематографии можно было считать исчерпанной. Но в тот момент, когда я решила проститься, мой знакомый поэт-сценарист сказал:

– Да, вот еще: будь готова к тому, что Анжелка грабанет половину гонорара.

– В каком смысле? – удивилась я.

– В соавторы воткнется.

Тут я удивилась еще больше. И не то чтобы мне в то время совсем было мало лет, но специальность преподавателя музыки, полученная после окончания консерватории, в те годы еще оберегала мое литературное целомудрие.

– Глупости! – сказала я решительно. – Повесть написана и опубликована, сценарий я сбацаю в соответствии...

– Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел... – забормотал мой знакомый, – и от тебя, лиса...

Он поднял на меня глаза, по цвету они удивительно сочетались с пивом в кружке. Ясно было, что он останется сидеть тут до закрытия.

Я преувеличенно дружелюбно попрощалась. Я всегда преувеличенно дружелюбно разговариваю с пьяными, тем самым предупреждая и заранее лишая основания классический вопрос русского поэта-пьяницы.

Впрочем, как и большинство русских поэтов-пьяниц, мой знакомый был евреем.

* * *

Сверясь с записанным адресом, я поднялась в лифте на пятый этаж огромного узбекфильмовского дома и, побродив по опоясывающей его внешней галерее, отыскала нужную квартиру.

За дверью кричали. Надрывно, нагло и одновременно беспомощно.

– Совсем офуела, совсем?! – орал молодой, срывающийся голос. – Сказал – поеду, значит – поеду!! Да пошла ты!!

Я еще раз сверила номер на двери с записанным на бумажке и поняла, что надо уходить. Представить себе в ближайшую неделю какой-то разговор об искусстве за этой дверью я не могла.

В эту самую минуту дверь изнутри рванули и – я успела отскочить в сторону – мимо меня, скалясь, пронесся мальчик лет девятнадцати и побежал по галерее к лестнице, на ходу подпрыгивая и лягая стены, как на тренировках в студии карате.

– Маратик, Маратик!! Свола-ачь!! – крикнули из глубины квартиры. Оттуда на галерею выскочила маленькая грациозная женщина в джинсах, из тех, кого называют «огонь-девка», годам этак к пятидесяти. Перегнувшись через перила, она крикнула во двор:

– Маратик, попробуй только взять машину, мало бился, сука?! – И, взглядываясь в спину удаляющегося по двору молодого человека, сказала: – А ты входи, входи... Чего ты такая... скованная?

Так началась эта киноэпопея...

Я и раньше подозревала, что в текущем кинематографе не боги горшки обжигают. Но чтоб настолько – не боги и до такой степени – горшки?..

Раз в два-три дня я появлялась у Анжеллы, «работать над сценарием». То есть я зачитывала ей то, что написала за это время. Из архива киностудии Анжелла приволокла два литературных сценария, по которым я должна была насобачиться в этом деле: «Али-баба и сорок разбойников» и «Хамза» – об основоположнике советской узбекской культуры Хамзе Хаким-заде Ниязи. Собственно, это был один длинный, тягучий эпос, в котором фигурировали симпатичные, худые, честные бедняки; алчные, жирные баи; жестокие разбойники; трепетные, как лань, девушки в паранджах и шальварах; а также ослы, скакуны, вязанки дров и полосатые узбекские халаты.

Песни были разные – впоследствии, в фильмах. В сценариях же тексты песен не указывались, писалось только в скобках: «звучит волнующая мелодия» или «на фоне тревожной музыки». Если не ошибаюсь, главные роли в обоих фильмах играл один и тот же известный узбекский актер. Так что образы Али-бабы и основоположника узбекской советской культуры невольно слились у меня в немолодого одутловатого выпивоху в лаковых туфлях.

Анжелла оказалась человеком в высшей степени прямым, то есть принадлежала к тому именно типу людей, который я ненавижу всеми силами души.

Этот тип людей сопровождает меня вдоль всей моей жизни. Я говорю – вдоль, потому что с детства стараюсь не пересекаться с этими людьми. Подсознательно (а сейчас уже совершенно сознательно) я уходила и ухожу от малейшего соприкосновения с ними.

Я определяю их с полуфразы по интонации, по манере грубо вламываться в область неназываемого – на которую имеет право только настоящая литература и интимнейший шепот возлюбленных, – бодро называя в ней все, и все – невпопад. Поскольку по роду занятий всю жизнь я раскладываю этот словесный пасьянс, кружу вокруг оттенка чувства, подбирая мерцающие чешуйки звуков, сдуваю радужную влагу, струящуюся по сфере мыльного пузыря, выкладываю мозаику из цветных камушков, поскольку всю жизнь я занимаюсь проклятым и сладостным этим ремеслом, то в людях типа Анжеллы я чувствую конкурентов, нахрапистых и бездарных.

Был у нее один тяжелейший порок, за который, по моему выстраданному убеждению, следует удалять особь из общества, как овцу выбраковывают из стада: она говорила то, что думала, причем без малейшей разделительной паузы между двумя этими, столь разными, функциями мозга.

Сказанув, обычно приходила от произнесенного в восторг и изумление.

В этой огромной пятикомнатной квартире они жили втроем. И если мать с сыном связывали на редкость тугие, перекрученные, намертво завязанные узлами колючей проволоки отношения, то отец, на взгляд постороннего, казался настолько случайным человеком в доме, что впервые попавшие сюда люди принимали его за такого же гостя.

Сейчас, как ни силюсь, не могу припомнить – был ли в этих хоробах у него угол. Между тем прекрасно помню «кабинет» Анжеллы, комнату Маратика, всю обклеенную фотообоями: джунгли, обезьяны, застывшие на пальмах с кокосовым орехом в лапах, серебряные водопады, оцепеневшие на стенах. Поверх этого африканского великолепия наклеены были метровые фотографии каких-то знаменитых каратистов, схваченных фотокамерой в мгновение прыжка, с летящей железномускульной ногой, рассекающей воздух, как весло – воду.

А вот комнату Мирзы, Мирзы Адыловича, профессора, талантливого, как говорили, ученого, – не помню, хоть убей.

Правда, в спальне стояла громадная, как палуба катера, супружеская кровать, но боюсь – хоть и не мое это дело, – профессору и там негде было голову приклонить. Впрочем, на то была причина – о, отнюдь не амурного свойства. Скорее наоборот.

Впервые я увидела Мирзу в тот день, когда пришла читать Анжелле начальные страницы сценария. Часам к пяти в дверь позвонили тремя короткими вопрошающими звонками. Анжелла пошла открывать и спустя минуту появилась с высоким, очень худым, неуловимо элегантным человеком лет пятидесяти. Он напоминал какого-то известного индийского киноактера – худощавым смуглым лицом, на котором неуместными и неожиданными казались полные, женственного рисунка губы.

– Это Мирза, – сказала Анжелла, интонационно отсекая от нас двоих присутствие этого человека. – Ну, читай дальше.

– Очень приятно, – сказал Мирза, протягивая мне странно горячую, точно температурную руку. – Творите, значит? Ну, творите, творите...

Я вдруг ощутила запах спиртного, перебитый запахом ароматизированной жвачки, которую он как-то слишком оживленно для своего почтенного возраста жевал.

– Не мешай нам! – крикнула Анжелла. – Пошуруй в холодильнике насчет ужина.

– Сию минутку! – с готовностью, возбужденно-весело отозвался Мирза. – Сей момент! Словом, он был основательно пьян. И, судя по всему, не слишком удивил этим Анжеллу. Тогда я поняла – кто он.

И правда, очень быстро он приготовил ужин, и, когда позвал нас на лоджию есть – там стоял большой обеденный стол, – оказалось, что все уже накрыто, и умело, даже изысканно – с салфетками, приборами, соусами в невиданных мною номенклатурных баночках.

Когда мы пообедали и вернулись в гостиную, Мирза, надев фартук, стал мыть посуду, хотя, на мой взгляд, ему бы следовало принять горячий душ и идти спать. Но он не ушел спать, а все возился на кухне, гремел кастрюлями. И хотя он находился в собственном доме, меня не покидало ощущение, что этому почему-то с первой минуты безотчетно симпатичному мне человеку некуда идти.

Час спустя явился Маратик, отец и его стал кормить. Я слышала доносящиеся из кухни голоса. Рывкающий – Маратика и мягкий, виновато-веселый голос отца.

– Опять?! Опять накирчался? Как свинья!

И в ответ – невнятное бормотание.

– Дать?! – угрожающе спросил сын. – Дать, я спрашиваю?! Допросишься!..

Помнится, на этом вот эпизоде я попрощалась и ушла.

* * *

Литературный сценарий катился к финалу легко и местами даже вдохновенно.

Я отсекала все пейзажи, а вместо описаний душевного состояния героев писала в скобках – «на фоне тревожной музыки».

За большую взятку – кажется, рублей в шестьсот – мама воткнула меня в жилищный кооператив, в очередь на двухкомнатную квартиру, и мы ходили «смотреть место», где по плану должен был строиться «мой» дом.

В течение года, пока писался сценарий, снимался и озвучивался фильм, место будущего строительства несколько раз менялось, а мы с мамой и сыном все ходили и ходили «смотреть» разные пустыри с помойками.

– Место удачное, – веско говорила мама, – видишь, остановка близко, школа недалеко и тринадцатым полчаса до Алайского рынка.

Мама с неослабевающим энтузиазмом одобряла все пустыри и помойки, и действительно – у каждого было какое-нибудь свое достоинство. Думаю, в глубине души маме необходимо было оправдать ту большую взятку, утвердить ее доброкачественность в высшем смысле, нарастить на нее некий духовный процент.

Когда дом уже построили и мы даже врезали в дверь моей квартиры новый замок, я вдруг уехала жить в Москву. Квартиру сдали в кооператив, взятка пропала. Мысль об этом просто убивала маму. Она часто вспоминала эту взятку, как старый нэпман – свою колбасную лавку, экспропрированную молодчиками в кожаных тужурках.

Потом я и вовсе уехала из России, что окончательно обесценило ту давнюю взятку за несбывшуюся квартиру, буквально превратило ее в ничто... так орел, поднявшийся в небо, уменьшается до крошечной точки, а потом истаивает совсем. И хотя мама уехала вслед за мной и другие денежные купюры осеняют ее старость, нет-нет да вспоминает она ту упорхнувшую птицу. А учитывая, что, по всей вероятности, я когда-нибудь умру, – Боже мой, Боже, – какой грустной и бесполезной штукой представляются наши взятки, как денежные, так и все иные...

* * *

Сценарий продвигался к концу, и, по моим расчетам, должна была уже возникнуть где-то поблизости фигура Верноподданного Еврея. Я озиралась, вглядывалась в окружающих, тревожно прислушивалась к разговорам – нет, вокруг было спокойно и даже благостно.

Наконец я дописала последнюю сцену – сцену любви, конечно же; в скобках написала: «титры на фоне волнующей мелодии» – и уже на следующее утро с выражением читала эту стряпню Анжелле. Иногда по ходу чтения она прерывала меня, как и положено соавтору и режиссеру.

– Видишь, морщины у меня вот здесь, под глазами? – спрашивала она вдруг, всматриваясь в зеркальце со свежим детским любопытством. – Знаешь почему? Я сплю лицом в подушку.

Я смиренно ждала, когда можно будет возобновить чтение.

– Ты никогда не спи лицом в подушку! – с горячим участием, даже как-то строго говорила она.

– Хорошо, – отвечала я покладисто. И продолжала читать. Выслушав последние страницы моего вдохновенного чтения, Анжелла отложила зеркальце и спустила ноги с тахты, что придало ей вид человека, готового к действию.

– Ну вот, – проговорила она удовлетворенно, – теперь можно все это показывать Фаньке.

У меня неприятно подморозило живот, как это бывает в первой стадии отравления.

– Кто такая Фанька? – спросила я без выражения.

– Наша редактор. Баба тертая. Да не бойся, Фанька своя. Она хочет как лучше.

Я тяжело промолчала. Верноподданный Еврей всегда в моей жизни был «свой» и «хотел как лучше». Более того – В. Е., как правило, мне симпатизировал, а иной раз прямо-таки любил намекающей на кровную причастность подмигивающей любовью. Порой у меня с В. Е. происходили даже полуоткровенные объяснения – смотря какой калибр попадался, это зависело от должности, помноженной на степень творческой бесталанности...

Фанька, Фаня Моисеевна, оказалась величественной красавицей лет семидесяти с выпукло-перламутровыми циничными глазами. Такой я всегда представляла себе праматерь нашу Сарру. Говорила она хриплым баритоном и курила ментоловые сигареты.

– Ну что ж, неплохо... – затягиваясь и щелкая указательным пальцем по сигарете, сказала Фаня Моисеевна. – Эта любовная сценка в лифте, монолог этого мудачка-деда... неплохо...

На ее указательном пальце сидел массивный узбекский перстень с крупным рубином, схваченным по кругу золотыми зубчиками. Казалось, она и носит эту тяжесть, чтобы нагруженным пальцем сбивать с сигареты пепел.

– Неплохо, неплохо, – повторила она. – Только вот герой на «Узбекфильме» не должен быть евреем...

Это был абсолютно неожиданный для меня точный удар в тыл. Признаться, я возводила оборонные укрепления совсем по другим рубежам.

После секундного замешательства я спешно привела в движение некоторые лицевые мускулы, сооружая на лице выражение искреннего удивления, необходимое мне те несколько мгновений, в течение которых следовало дать отпор этому умному, как выяснилось, и подлому экземпляру В. Е.

Так комдив отступает с остатками дивизии, сильно потрепанной внезапным ночным нападением врага...

Словом, я подняла брови и несколько мгновений держала их на некоторой изумленной высоте.

– С чего вы взяли, что он еврей? – дружелюбно спросила я наконец.

Любопытно, что мы с ней одинаково произносили это слово, это имя, это табу, – смягчая произнесение, приблизительно так – ивре... словно это могло каким-то образом укрыть суть понятия, защитить, смягчить и даже слегка его ненавязчиво ассимилировать. (Так, бывает, звонят из больницы, сообщая матери, что ее попавший в автокатастрофу сын в тяжелом состоянии, в то время как сын, мертвее мертвого, уже минут десять как отправлен на каталке в морг.)

– С чего вы взяли, что он ивре?.. – спросила я, глядя в ее перламутровые глаза, пытаюсь взглядом зацепить на дне этих раковин некоего вязкого студенистого моллюска.

(О, скользкая душа Саддукея, древние темные счеты с иными из моего народа! В такие считанные мгновения в моей жизни я проникала в один из побочных смыслов понятия «гой» – слова, которому я до сих пор внутренне сопротивляюсь, хотя знаю уже, что ничего оскорбительного для других народов не заложено в нем изначально.)

Анжелла сидела на краю тахты, на обочине моего сухого горячего взгляда, и мешала. Уведите чужого, уберите чужого – да не увидит он, как я убью своего – сам! Как я воткну ему в горло нож – и он знает за что! – собственной рукой. Закройте глаза чужому...)

– Еврей! – воскликнула Анжелла радостно, как ребенок, угадавший разгадку. Она произнесла это слово твердо и хрустко, как огурец откусывала: «яврей». – Ну конечно, яврей, то-то я чувствую – чего-то такое...

– Помилуйте, это прет из каждой фразы. – Фаня Моисеевна снисходительно и по-родственному улыбнулась мне. – Этот дедушка, эта бабушка... «Поку-ушай, поку-ушай»... – Последние слова она произнесла с типично национальной аффектацией, очень убедительно. Так, вероятно, говорила с ней в детстве ее бабушка где-нибудь в местечке под Бобруйском. Моя бабушка говорила со мной точно с такой же интонацией. И это меня особенно взбесило, с памятью своей бабушки она вольна была вытворять все, что ей заблагорассудится...

– А вот мою бабушку оставьте в покое, – сказала я, спуская брови с вершин изумления.

– Напрасно вы обиделись! – приветливо воскликнула Фаня Моисеевна. – Мы почти ничего не тронем в сценарии. Надо только верно расставить национальные акценты.

– Фанька, молчи! – вскрикнула Анжелла в странном радостном возбуждении. – Я вижу теперь – что она хотела устроить из моего фильма! Она синагогу хотела устроить! Все яврей!!

Я молча завязала тесемочки на папке, поднялась из кресла и направилась к дверям.

Анжелла нагнала меня в прихожей и повисла на мне, хохоча. При этом изловчилась вlepить мне в шею мокрый и крепкий поцелуй, превративший мое благородное возмущение в пошлый фарс.

Много раз за все время создания... (нет, избегу, пожалуй, столь высокого слова) сварганивания фильма я вставала и уходила с твердым намерением оборвать этот фарс, и каждый раз до анекдота повторялась сцена бурного и страстного – с поцелуями взасос (моя бедная шея! выше Анжелла не доставала, была миниатюрна, как персидская княжна) – водворения меня в кинематографическое русло.

– Дура! – кричала она, облапив меня и ногами отпихивая куда-то в сторону балкона мои сандалии, которые я пыталась обуть с оскорбленным видом. – Дура, кончай выпендриваться! В комнате посмеивалась астматическим кашлем-смешком Фаня Моисеевна.

В конце концов я была пригнана в комнату и впихнута в кресло.

– Итак, надо подумать, как верно расставить национальные акценты, – затягиваясь сигаретой, серьезно продолжала Фаня Моисеевна.

– А че тут думать! – выпалила Анжелла. – Все узбеки, и тамон болды!

– Ну, Анжелла, вы как всегда – из одной крайности в другую, – мягко и укоризненно проговорила Фаня Моисеевна. – Не забудьте, что, кроме нашего Минкульта, есть еще Госкино... Образ Григория нужно оставить как образ русского друга.

– Так он же тоже яврей!

– Не преувеличивайте, – отмахнулась Фаня Моисеевна. – Его любовницу Лизу тоже оставим русской.

– Любовницу – да, – согласилась Анжелла сразу.

Фаня Моисеевна глубоко задумалась, сбивая указательным пальцем пепел с сигареты. Так глубокомысленно сидят над планом будущего сражения или над пасьянсом. Рубиновая горячая слезка посверкивала в перстне.

– Очень серьезно надо отнестись к уголовному миру сценария, – сказала она, – вот у вас вор есть, осетин, и бандит-кореец. Это никуда не годится.

– Почему? – спросила я уже даже с любопытством.

– Потому что крайне опасно задевать национальные чувства меньшинств.

– Я тоже отношусь к национальному меньшинству, – возразила я. – Тем не менее мои национальные чувства весь вечер вы не то что задеваете – вы лупите по ним кувалдой.

– Радость моя, какого черта? – интимно улыбнулась старуха. – Вы мне еще двадцать раз спасибо скажете, пока сценарий и фильм будут инстанции проходить... Нет, осетин у нас пройдет эпизодом в звании сержанта, а кореец будет просто милым соседом, тем, что, помните, здороваётся по утрам с нашим дедушкой... Весь преступный мир мы поделим пополам, на узбеков и русских. Дадим одного еврея – подпольного цеховика, сочините смешной диалог для его допроса... Главного героя Сашу мы назовем... – Фаня Моисеевна затянулась сигаретой.

– А пусть его зовут Маратик! – воскликнула Анжелла с нежностью такой откровенной силы, какая была бы прилична лишь при обсуждении имени первенца в семье, тщетно ожидавшей младенца многие годы и наконец получившей его – недоношенного, голубенького, полуторакилограммового.

Тут я испугалась по-настоящему.

– Но послушайте, – начала я осторожно, – существует ведь еще правда жизни и правда искусства. Превращая семью главного героя в узбекскую, вы идете против реальности. В узбекских семьях принято почтительное отношение к старшим, а наш герой то и дело говорит дедушке: «Ты что, дед, спятил?!»

В эту минуту в комнату вошел Маратик – босой, в спортивных трусах «Адидас». Не здороваясь, развинченной походкой отдыхающего спортсмена он подошел к платяному шкафу и, распахнув дверцы, молча поигрывая молодыми мускулистыми ногами, стал громко стучать вешалками.

– Чистую рубашку я найду в доме, – проговорил он со сдержанной яростью, не обременя фразы вопросительной интонацией.

– Рубашки все в грязном белье, Маратик... – заискивающим тоном ответила мать, – надень спортивную майку.

Он развернулся, несколько секунд с холодным интересом изучал нас троих, стопку листов на журнальном столике. У него было лицо молодого хана Кончака – по складу скорее казахское, чем узбекское, – красивое, но отмеченное лишь одним выражением: всеобъемлющего презрительного высокомерия.

– Ты, мать, что – совсем сбондила со своими сценариями? – наконец спросил он негромко.

– Анжелла, помните, – оживленно встряла Фаня Моисеевна, – когда Маратик был маленьким, он показывал пальчиком на мои глаза и говорил: «газки синьки, зеленьки», что означало «глазки синенькие, зелененькие»...

Маратик с жалостливой гримаской уставился на старуху, все еще держащую палец где-то у переносицы, и, собрав губы трубочкой, проговорил пискляво:

– Фанька! Молци!

Прикрыв глаза, она засмеялась коротким одышливым смешком.

Анжелла ушла искать по комнатам рубашку для Маратика, а мы с Фаней Моисеевной сидели и молчали.

Наконец она спросила:

– Вы какого года рождения?

– Какая разница? – раздраженно спросила я. – Понимаю, о чем вы. Да, я родилась в послесталинское время.

– Вот видите, – усмехнулась она, – а я родилась гораздо, гораздо раньше...

– А Торквемада еще раньше, – грубо сказала я.

Она отмахнулась, закуривая:

– Ай, бросьте, при чем здесь Торквемада...

– Послушайте, – спросила я хмуро, – у меня появились тяжкие опасения, что главную роль в фильме наша козочка захочет подарить своему хамёнку.

– Чш-ш-ш! – Фаня Моисеевна приложила к губам палец с перстнем и, скосив глаза на дверь, проговорила тихо и внятно: – Он, конечно, сукин сын... Но, между прочим, студент режиссерского факультета театрального института и очень способный мальчик.

– Хоть гений! Он абсолютно антипатичен. Вся эта довольно банальная история, – я щелкнула по папке, – держится на обаянии главного героя...

Фаня Моисеевна вздохнула и достала из пачки очередную ментоловую сигарету.

– Боюсь, тут мы с вами бессильны...

– Вы ошибаетесь! – проговорила я торжественно, поднимаясь из кресла.

Впоследствии обнаружилось, что Фаня Моисеевна не ошибалась никогда.

* * *

– Знаешь, где выделяют место под строительство нашего дома? – сдержанно ликуя, объявила мама. – Пустырь за вендиспансером. Место дивное! На углу квас продают!

– Хорошо, – сказала я устало.

– А что?! – вскинулась она, как будто я ей возражала. – Летом квас на углу – большое удобство!

– Как и вендиспансер, – добавила я.

– Что это за синяк у тебя на шее? – спросила она подозрительно, как в десятом классе.

– Ударилась, – ответила я, как в десятом классе.

Наутро я позвонила Анжелле и – так опытный звукооператор поддерживает на пульте звук на нужной высоте – ровным дружелюбным голосом сообщила ей, что, к сожалению,

вследствие многих причин потеряла интерес к будущему фильму и с сегодняшнего дня намерена заняться кое-чем другим.

Она издала птичий клекот, но я повесила трубку и выдернула провод из розетки.

* * *

– Не думал, что ты такая торжественная дура, – сказал на это мой знакомый поэт-сценарист. Он был по-утреннему трезв и суров. Мы встретились случайно в гастрономе. – Кому ты сделала хуже? Маленькому сыну, у которого не будет теперь своей комнаты. И ради чего? Ради чистой совести? Не делай вид, что, кроме этого сценария, твою совесть не отягощают еще три тачки дерьма. Что заботит тебя, несчастная? Высокое имя литератора? Положили все на твое высокое имя, как кладешь ты на имена других, – никто никому не интересен в этой сиротской жизни... Что хорошего еще сказать тебе, моя Медея? Могу поведать о многом. О том, например, что ни один уважающий себя человек и не пошел бы смотреть этот шедевр «Узбекфильма». Поэтому на твою гордую позу Литератора и Личности только голуби какнут, и то – из жалости...

– Что же ты предлагаешь? – смущенно спросила я, мелко перебирая ногами в очереди к прилавку в молочном отделе.

– Я предлагаю немедленно пасть в ноги Анжелке, вылизать ее левый сапог, вымыть полы в ее квартире и без перерыва приступить к написанию режиссерского сценария.

– Как?! – удивилась я. – Разве режиссерский сценарий пишет не режиссер?!

Он сморщился, пережидая схватку изжоги.

– Ну ладно, мне – в винно-водочный, – сказал он наконец. – И вообще: не делай такого лица, будто вчера тебе наложили в карман... Это было не вчера.

Разумеется, левый сапог Анжеллы я вылизывать не стала, но, вернувшись из гастронома, вороватым движением, словно невзначай, подключила телефонный аппарат.

Он зазвонил через две минуты.

Это была Фаня Моисеевна. Обволакивая меня хрипловатым баритоном и через два слова на третье бесстыдно присобачивая суффикс «чк» к моему имени, она сообщила, что сценарий одобрен редколлегией и через неделю мы с Анжеллой можем получить аванс в кассе киностудии – двадцать пять процентов гонорара.

– А при чем тут Анжелла? – строптиво спросила я. Оказывается, впечатляющей лекции в гастрономе хватило мне ненадолго. – Сценарий написан мною от начала до конца, и вы это прекрасно знаете сами.

– Да черт возьми! – воскликнула Фаня Моисеевна, сметая интонации приязни, как смахивают крошки со стола. – Кому это интересно? Расскажите это своим родственникам, и пусть они гордятся «нашей девочкой». Будьте же хоть немного умнее! Сценарий пойдет дальше – в Комитет по делам кинематографии, сначала республиканский, потом всесоюзный.

– Ну и что? – упрямо спросила я.

– А то, что Анжелла – первая женщина-режиссер-узбечка! – Слышно было, как она щелкнула зажигалкой, закуривая. – Правда, она татарка... Надеюсь, вы понимаете, чья фамилия должна предвдварять сценарий?

– Анжеллина? – тупо спросила я.

– Ну не ваша же! – с усталой досадой проговорила старуха.

* * *

С твердой хозяйственной сумкой производства Янгиюльской кожгалантерейной фабрики мы с мамой шли получать гонорар в кассе киностудии.

В сумке лежали: старые газеты «Комсомолец Узбекистана», кухонное полотенце и буханка хлеба.

– Сумму заворачиваем в носовой платок, – говорила мама тихо, с конспиративным напором, оглядываясь поминутно как бы на возможных преследователей. Так старательно и серьезно студенты актерского факультета отрабатывают этюд на тему «погоня». – Сумму в платок, потом в полотенце, кладем на дно, сверху придавливаем буханкой...

То, что деньги мама называла «суммой», тоже являлось деталью торжественного действия, в которое моя артистичная мать любовно наряжала обыденность нашей жизни. Я никогда ей в этом не мешала, понимая, что каждый имеет право наряжать жизнь по своему вкусу.

В одном из тесных коридоров «Узбекфильма» уже стояла маленькая плотная, словно литая, очередь к окошку кассы. Крайней оказалась Анжелла.

– Ну, прочухалась? – громко и дружелюбно проговорила она. – Башли-то получать охота?

Движением кисти она метнула паспорт на широкий облупленный подоконник кассы – так старый картежник сдает колоду. Расписалась в выдвинутой углом из окна ведомости и приняла от кассирши пачку сотенных.

– Вот так-то, лапа, – нежно-покровительственно проговорила она, уступая мне место у окошка. – Когда-нибудь и я тебе что-то хорошее сделаю.

Эта древняя простота грабежа изумила меня, лишила дара речи, свела скулы дикой кислятиной.

Машинально я расписалась в ведомости, машинально, с извиняющимся лицом – не в силах побороть смутного чувства незаслуженности огромных денег, доставшихся, как говаривала моя бабушка, «на дурнычку», – оставила кассирше на подоконнике двадцать рублей, хвостик гонорара.

Всегда оставляя что-то кассиру, учил меня мой папа, человек тоже не дельной профессии, художник (о, бесполезность всей моей породы!), рука дающего не оскудеет...

Я отдала деньги маме, стерегущей меня в двух шагах от кассы. С тем же торжественно-деятельным лицом, прижимая к сердцу хозяйственную сумку, она стала спрашивать каких-то молодых актрис, где тут туалет, всем видом намекая, что туалет ей нужен не за естественной надобностью, а для дела конспиративной важности. В другое время я покорно поплелась бы за ней в туалет, следуя своим правилам – не мешать никому обряжать жизнь в театральные одежды, и топталась бы рядом, пока она заворачивает эти деньги в платок и придавливает их буханкой хлеба... но скулы мои все еще были сведены отвратительной кислятиной от дружелюбного насилия, и я сказала:

– Оставь, ради Бога. – И пошла к выходу во двор...

Эти деньги меня уже не интересовали.

Вообще там, наверху – по моему ведомству, – всегда заботились о том, чтобы я понимала смысл копейки. А поскольку от природы я – мотало, то для такого понимания приходилось меня тяжело учить. Полагаю, выдумывание принудительных работ входило в обязанности моего ангела-хранителя. Это он выписывал наряды.

Например, в молодости, получая приличные гонорары за перевод романов узбекских писателей, я одновременно за сто двенадцать рублей в месяц мучительно преподавала в Институте культуры такую дисциплину – аккомпанемент.

Ездил далеко, двумя трамваями, четыре раза в неделю и занималась добросовестно и строго с юными пастухами, которых ежегодно рекрутировала по горным кишлакам приемная комиссия Института культуры.

Узбекский народ очень музыкален. Любой узбек сызмальства играет на рубабе или гиджаке, на карнае, сурнае, дойре.

Так что набрать группу абитуриентов на факультет народных инструментов не составит труда, даже если члены приемной комиссии, командированной в высокогорные кишлаки, все свое рабочее время проведут в застольях. В данном случае это даже неплохо, так как большой «той» всегда сопровождает игра музыкантов. Сиди себе на расстеленных «курпачах», потягивай водку из пиалы и указывай пальцем на какого-нибудь юного рубаиста.

Отобранные приемной комиссией дети горных пастбищ приезжали в двухмиллионный город – беломраморную столицу советского ханства, – который оглушал и за пять лет растлевал их беззащитные души до нравственной трухи. Голубые купола одноименного кафе заслоняли купол мечети; с патриархальными устоями расправлялись обычно к концу второго семестра, отсиживая очередь на уколы в приемной венеролога.

По замыслу чиновников министерства эти обогащенные духовными богатствами мировой культуры пастухи обязаны были вернуться в родные места, чтобы затем в должности хударука в сельском клубе способствовать просвещению масс.

Но – огни большого города... Всеми пальцами повисшего над пропастью пастуха, до судорог эти ребята цеплялись за чудно бренчащую жизнь, и в результате оставались в городе почти все.

Старая история. И лишь немногие из них впоследствии работали по специальности, дирижерами-хоровиками, руководителями народных ансамблей и хоров. Редко кто, помахая палочкой, дирижировал хором Янгиюльской кожгалантерейной фабрики, исполняющим песню Хамзы Хаким-заде Ниязи «Хой, ишчилар!» – что значит «Эй, рабочие!»... Редко, редко кто.

Чаще они уходили в область коммерции, казалось бы, абсолютно противоположную тем тонким материям, к которым их приобщали в Институте культуры. Во всяком случае, несколько раз я встречала то одного, то другого своего бывшего студента за прилавком какого-нибудь обувного магазина, и, просияв, он шептал мне интимно: «Есть хороши арты-педишски басаножья»...

Я получила распределение в Институт культуры после окончания консерватории. И хотя к тому времени уже было ясно, что не музыка выцедит мою душу до последней капли горького пота, мама все же считала, что запись в трудовой книжке о преподавательской деятельности в институте в дальнейшем благотворно скажется на сумме моей пенсии.

Вообще, при всей артистичности и склонности орнаментировать свою нелегкую жизнь преподавателя обществоведения, мама почему-то всегда была озабочена будущим «куском хлеба» для своих детей.

Музыка – это кусок хлеба, утверждала она, десять частных учеников в неделю уберегут тебя от такой собачьей жизни, как моя.

Отец считал, что я должна бросить все. Он так и говорил – наплюй на всех. Ты – писатель. Ты – крупная личность. (К тому времени были опубликованы три моих рассказа. Папа часто их перечитывал и, когда его отрывали от этого занятия, сатанел.)

Он болезненно гордился мной, его распирало родительское тщеславие, принимавшее порой довольно причудливые формы.

Однажды моя сокурсница, вернувшись из Москвы и с упоением рассказывая об экскурсии на Новодевичье кладбище, добавила со вздохом белой зависти: «Какие люди там лежат! Нас с тобой там не похоронят».

Дома за ужином я пересказала ее впечатления, не забыв и последнюю фразу, на мой взгляд, довольно смешную.

Папа вдруг изменился в лице и, приподнявшись из-за стола, будто собирался произнести тост, воскликнул:

– В таких случаях говорят только за себя! Ее, конечно уж, на Новодевичьем не похоронят. А тебя – похоронят! – закончил он торжественно, с громадной убежденностью.

Мама, помнится, застыла с ложкой у рта.

Но я все время отвлекаюсь.

Так вот, Институт культуры.

Мне было двадцать два года. Первым делом я на всякий случай сломала замок на двери в аудитории, где проводила уроки.

Тут надо кое-что пояснить.

Строгая пастушеская мораль предков и священное отношение узбеков к девичьей чести абсолютно не касаются их отношения к женщине европейского происхождения – независимо от ее возраста, профессии, положения в обществе и группы инвалидности. По внутреннему убеждению восточного мужчины – и мои мальчики не являлись тут исключением – все женщины-неузбечки тайно или открыто подпадали под определение «джальяб» – проститутка, блудница, продажная тварь. Возможно, тут играло роль подсознательное отвращение Востока к прилюдно открытому женскому лицу.

И хотя к тому времени, о котором идет речь, уже три десятилетия красавицы узбечки разгуливали без паранджи, в народе прекрасно помнили – кто принес на Восток эту заразу.

Ну а я к тому же носила джинсы и пользовалась косметикой яростных тонов – то есть ни по внешнему виду, ни по возрасту не могла претендовать даже на слабое подобие уважения со стороны учеников. Но я знала, что мне делать: строгость, холодный официальный тон и неизменное обращение к студенту на «вы». Я им покажу кузькину мать. Они меня станут бояться. А студенческий страх полностью заглушит скабрёзные мыслишки в дремучих мозгах этих юных пастухов. С тем я и начала свою педагогическую деятельность.

Особенно боялся меня один студент – высокий красивый мальчик лет восемнадцати, в розовой атласной рубашке. Его буквально трясло от страха на моих уроках. Я слышала, как шуршит язык в его пересохшем рту. К тому же он, как и большинство его товарищей, почти не говорил по-русски.

Сидя сбоку от пианино, я строго смотрела мимо студента в окно, постукивая карандашиком по откинутой крышке инструмента.

– Что я вам задавала на дом?

Стоя на почтительном расстоянии от меня и полукланяясь, он отвечал робко:

– Шуман. Сифилисска песен...

Карандашик зависал в моих пальцах.

– Что-что?! – грозно вскрикивала я. – Как-как?!

От страха под мышками у него расплывались темные пятна.

– Доставайте ноты!

Он суетливо доставал из холщовой, неуловимо пастушеской сумки ноты «Сицилийской песенки».

– Читайте!

Сощурился от напряжения и помогая себе, как указкой, подрагивающим пальцем, он старательно прочитывал: «Си-си-лисска песс...»

Особенно ярко – слово в слово – запомнила я один из таких уроков, может быть, потому, что впервые искра сострадания затеплилась в моей подслеповатой душе.

Накануне мы разучивали «Серенаду» Шуберта. Разумеется, перед тем как приступить к разучиванию самой пьесы, я подробно и внятно, простым, что называется, адаптированным языком объяснила, что это за жанр, когда и где зародился, как развивался...

– Итак, повторяем прошлый урок, – начала я, как обычно, сурово. – Будьте любезны объяснить, что такое «серенада».

Он сидел на стуле, держа на коленях смуглые небольшие кисти рук, и тупо глядел в блошиную россыпь нот перед собой.

– Так что это – «серенада»?

– Ашул-ля, – наконец выдавил он.

– Правильно, песня, – милостиво кивнула я. – На каком инструменте обычно аккомпанирует себе певец, исполняющий серенаду?

Он молчал, напряженно припоминая, а может быть, просто вспоминая смысл того или другого русского слова.

– Ну... – подбодрила я и жестом подсказала: левой рукой как бы взялась за гриф, кистью правой изобразив потренькивание на струнах.

Не повернув головы, он скосил на меня глаз и испуганно пробормотал:

– Рубаб-гиджак, дрын-дрын...

– Мм... правильно, на гитаре... Э-э... «серенада», как вы знаете – «ночная песнь», исполняется под балконом... чьим?

Он молчал, потупившись.

– Ну? Чьим?.. – Я теряла терпение. – Для кого, черт возьми, поется серенада?

– Там эта... девчонка живет... – помявшись, выговорил он.

– Ну-у, да, в общем... что-то вроде этого... Прекрасная дама. Так, хорошо, начинайте играть...

Его потные пальцы тыкались в клавиши, тяжело выстукивая деревянные звуки.

– А нельзя ли больше чувства? – попросила я. – Ведь это песня любви... Поймите. Ведь и вы кого-нибудь любите?

Он отпрянул от инструмента и даже руки сдернул с клавиатуры.

– Нет! Нет! Мы... не любим!

Этот неожиданный и такой категоричный протест привел меня в замешательство.

– Ну... почему же?.. – неуверенно спросила я. – Вы молоды, э... э... наверняка какая-нибудь девушка уже покорила ваше... э... И вероятно, вы испытываете к ней... вы ее любите...

– Нет! – страшно волнуясь, твердо повторил мой студент. – Мы... не любим! Мы... женитц хотим!

Он впервые смотрел прямо на меня, и в этом взгляде смешалась добрая дюжина чувств: и тайное превосходство, и плохо скрытое многовековое презрение мусульманина к неверному, и оскорбленное достоинство, и брезгливость, и страх... «Это ваши мужчины, – говорил его взгляд, – у которых нет ничего святого, готовы болтать с первой встречной «джаляб» о какой-то бесстыжей любви... А наш мужчина берет в жены чистую девушку, и она всю жизнь не смеет поднять ресниц на своего господина...»

Конечно, я несколько сгустила смысл внутреннего монолога, который прочла в его глазах, облекла в слишком литературную форму... да и разные, весьма разные узбекские семьи

знавала я в то время... Но... было, было нечто в этом взгляде... дрожала жилка, трепетал сумрачный огонь...

Именно после этого урока в голову мою полезли несуразные мысли о том, что же такое культура и стоит ли скрещивать пастушескую песнь под монотонный звук рубаба с серенадой Шуберта.

А вдруг для всемирного культурного слоя, который век за веком напластовывали народы, лучше, чтобы пастушеская песнь существовала отдельно, а Шуберт – отдельно, и тогда, возможно, даже нежелательно, чтобы исполнитель пастушеской песни изучал Шуберта, а то в конце концов от этого получается песня Хамзы Хаким-заде Ниязи «Хой, ишчилар!»...

Может, и не буквально эти мысли зашевелились в моей голове, но похожие.

Я вдруг в полной мере ощутила на себе неприязнь моих студентов, истоки которой, как я уже понимала, коренились не в социальной и даже не в национальной сфере, а где-то гораздо глубже, куда в те годы я и заглядывать боялась.

Дома я затянула серенаду о том, что пора бежать из Института культуры.

– Бросай все! – предлагал мой размашистый папа. – Я тебя прокормлю. Ты крупная личность! Ты писатель! Тебя похоронят на Новодевичьем.

Мама умоляла подумать о куске хлеба, о моей будущей пенсии.

– Тебя могут оставить в институте на всю жизнь, – убеждала она, – еще каких-нибудь двадцать, тридцать лет, и ты получишь «доцента», а у доцентов знаешь какая пенсия!..

Беспредельное отчаяние перед вечной жизнью в стенах Института культуры дребезжало в моем позвоночном столбе. Я пыталась себя смирить, приготовить к этой вечной жизни.

(Тогда я еще не догадывалась, что нет ничего страшнее для еврея, чем противоположное национальному характеру смирение.)

Ничего, говорила я себе, по крайней мере они меня боятся, а значит, уважают. Не могут не уважать.

Дошло до того, что перед каждым уроком – особенно перед уроком с тем студентом, в розовой атласной рубашке, темная тоска вползала в самые глубины моих внутренностей, липким холодным студнем схватывая желудок.

Я бегала в туалет.

Так, однажды, выйдя из дамского туалета, я заметила своего ученика, который на мгновение раньше вышел из мужского. Он со своим русским товарищем шел впереди меня по коридору в сторону аудитории, где через минуту должен был начаться наш урок. И тут я услышала, как с непередаваемой тоской он сказал приятелю:

– Урок иду... Умирайт хочу... Мой «джаляб» такой злой! У мне от страх перед каждый занятий – дрисня...

Помнится, сначала, прислонившись к стене коридора, я истерически расхохоталась: меня поразило то, как одинаково наши кишки отмечали очередной урок. Если не ошибаюсь, я подумала тогда – бедный, бедный... Во всяком случае, сейчас очень хочется, чтоб ход моих мыслей в ту минуту был именно таков...

Потом я поняла, что до конца своих дней обречена истязать этих несчастных ребят, и без того потерявших всякое ощущение разумности мирового порядка.

Я с абсолютной ясностью ощутила, что жизнь моя, в сущности, кончена. Бесконечный ряд юных рубаистов представился мне. В далекой туманной перспективе этот ряд сужался, как железнодорожное полотно. И год за годом, плавно преобразаясь из молодой «джаляб» в старую, я строго преподавала им «Серенаду» Шуберта. Потом меня проводили на пенсию в звании доцента. Потом я сдохла – старая, высушенная «джаляб-доцент» – к тихому ликованием моих вечно юных пастухов.

Отшатнувшись от стены, выкрашенной серой масляной краской, я побрела к выходу во внутренний двор, огороженный невысоким забором-сеткой; там, за сеткой, экскаваторы вырыли обморочной глубины котлован под второе здание – Институт культуры расширился.

Подойдя к сетке, я глянула в гиблую пасть земли и подумала: если как следует разбежаться и, перепрыгнув забор, нырнуть головой вниз, то об этот сухой крошащийся грунт можно вышибить наконец из себя эту – необъяснимой силы – глинистую тоску.

Мне было двадцать два года. Никогда в жизни я не была еще так близка к побегу.

Краем глаза я видела какую-то ватную личность на скамейке неподалеку. Мне показалось, что спрашивают, который час, и я оглянулась. Плешивый мужик в стеганых штанах крутил толстую папиросу. Он лизнул бумагу широким обложенным языком, заклеил, прикурил и вдруг поманил меня к себе пальцем, похожим на только что скрученную папиросу.

Откуда здесь это ископаемое, бегло подумала я, с этой военной сигаркой, в этих ватных штанах в самую жару...

Я приблизилась. От него несло махоркой и дезинфекцией вокзальных туалетов. Он равнодушно и устало глядел на меня мутными испитыми глазками бессонного конвойного, много дней сопровождающего по этапу особо опасного рецидивиста.

– Вы спрашивали, который час? – проговорила я неуверенно.

– Домой! – вдруг приказал он тихо. И добавил похабным тенорком: – Живо!

Что прозвучало как «щиво!».

И я почему-то испугалась до спазма в желудке, обрадовалась, оглохла, попятилась, повернулась и пошла на слабых ногах в сторону главного входа – не оборачиваясь, испытывая дрожь облегчения, какая сотрясает обычно тело после сильного зряшного испуга.

Я уходила из Института культуры, оставив в аудитории соломенную шляпу, тетрадь учета посещений студентов и ручные часы, которые по старой пианистической привычке всегда снимала на время занятий.

Я уходила все дальше, спиной ощущая, какая страшная тяжесть, какой рок, какая тоска покидают в эти минуты обреченно ожидающего меня в нашей аудитории мальчика в розовой атласной рубашке.

Ни разу больше я не появилась в Институте культуры, поэтому в моей трудовой книжке не записано, что год я преподавала в стенах этого почтенного заведения. Не говоря уже о том, что и сама трудовая книжка в настоящее время – всего лишь воспоминание, к тому же не самое необходимое.

А пенсия... До пенсии все еще далеко.

* * *

Режиссерский сценарий побежал у меня живее – любое чувство изнашивается от частого употребления, тем более такая тонкая материя, как чувство стыда.

Пошли в дело ножницы. Я кроила диалоги и сцены, склеивала их, вписывая между стыками в скобках: «крупный план», или «средний план», или «проход».

Когда штука была сработана, Анжелла с углубленным видом пролиставала все семьдесят пять страниц, почти на каждой мелко приписывая перед пометкой «крупный план» – «камера наезжает».

Из республиканского Комитета по делам кинематографии тем временем подоспела рецензия на сценарий, где некто куратор Шахмирзаева Х. Х. сообщала, что в настоящем

виде сценарий ее не удовлетворяет, и предлагала внести следующие изменения, в противном случае... и так далее.

Поправки предлагалось сделать настолько неправдоподобно идиотские, что я даже не берусь их пересказать. Да и не помню, признаться.

Кажется, главного героя требовали превратить в свободную женщину Востока, убрать из милиции, сделать секретарем ячейки; бабушку перелицевать в пожилого подполковника-аксакала и еще какую-то дребедень менее крупного калибра.

И опять я вскакивала, бежала, как в муторном сне, по длинным кривоколенным коридорам «Узбекфильма», и за мной бежали ассистенты и костюмеры, возвращали, водворяли в русло.

Месяца через полтора я потеряла чувствительность – так бывает во сне, когда занемет рука или нога и снится, что ее ампутуют, а ты руководишь этим процессом, не чувствуя боли, и потом весь остаток сна с противоестественным почтением носишься, как с писаной торбой, с этой отрезанной рукой или ногой, не зная, к чему ее приспособить и как от нее отделаться.

Мы внесли деньги в жилищный кооператив, и на очередном безрадостном желтоглинном пустыре, в котором мама все же сумела отыскать некую привлекательность – кажется, прачечную неподалеку, – экскаваторы стали рыть котлован – такой же страшный, пустынный, желтоглинный...

Я уже ничего не писала, кроме сценария, переставляя местами диалоги, меняя пол героям, вводя в действие новых ублюдочных персонажей; когда казалось, что все это пройдено, очередная инстанция распадалась, как сувенирная матрешка, и передо мной являлась следующая инстанция, у которой к сценарию были свои претензии.

Я впала в состояние душевного ооченения. У меня работали только руки, совершая определенные действия: резать, клеить, стучать на машинке. Мама не могла нарадоваться на эту кипучую деятельность и каждый день приходила вымыть посуду, потому что я забросила дом.

Анжелла вызванивала меня с утра, требуя немедленно – возьми такси! – явиться, помочь, посоветовать... Целыми днями я хвостом болталась за ней по коридорам и пыльным павильонам «Узбекфильма». Изображались муки поиска актера на главную роль – Анжелла рылась в картотеке, веером раскладывала на столе фотографии скуластых раскосых мальчиков, студентов Театрального института.

Все уже знали, кто будет играть главную роль. Меня же все еще согревала идиотская надежда: найдем, найдем, ну, должен он где-то быть – пусть скуластый и раскосый, но обаятельный, мягкий, талантливый мальчик с растерянной улыбкой.

– Малик Азизов... – читала Анжелла на обороте очередной фотографии. – Как тебе этот, в фуражке?

Я пожимала плечами.

– Симпатичный, нет?

– Просто симпятяга! – встревала Фаня Моисеевна.

Анжелла смешивала карточки на столе, выкладывала их крестом, выхватывая одну, другую...

– Вот этот... Турсун Маликов... как тебе?

Я тяжело молчала. Все эти претенденты на главную роль в фильме были похожи на моих пастухов из Института культуры.

– Что-то в нем есть... – задумчиво тянула Анжелла, то отодвигая фото подальше от глаз, то приближая.

– Есть, определенно есть! – энергично кивала Фаня Моисеевна, закуривая тонкую сигарету. – Эдакая чертовщинка!

– Боюсь, никто, кроме Маратика, не даст образ... – вздыхала Анжелла.

– Только Маратик! – отзывалась Фаня Моисеевна.

– Да, но как его уговорить! – восклицала Анжелла с отчаянием.

Она любила своего ребенка любовью, испепеляющей всякие разумные чувства, исключая нормальной родственные отношения. Из их жизни, казалось, выпал важнейший эмоциональный спектр – отношения на равных. Мать либо заискивала перед сыном, либо наскокивала на него кошкой со вздыбленной шерстью, и тогда они оскорбляли друг друга безудержно, иступленно.

Разумеется, он был смыслом ее существования.

Разумеется, все линии ее жизни сходились в этой истеричной любви.

Разумеется, моя незадачливая повесть была выбрана ею именно потому, что пришло время воплотить ее божка на экране...

Когда несколько лет спустя, уже в Москве, меня догнала весть о гибели Маратика в автомобильной катастрофе (ах, он всегда без разрешения брал отцовскую машину, и бесстрашная мать всегда истерично пыталась препятствовать этому!), я даже зажмурилась от боли и трусости, не в силах и на секунду представить себе лицо этой женщины.

* * *

Из Москвы Анжелла выписала для будущего фильма оператора и художника.

Хлыщеватые, оба какие-то подростковатые, друг к другу они обращались «Стасик» и «Вячик» – и нежнейшим образом дружили семьями лет уже двадцать.

У одного были жена и сын, у другого – жена и дочь, и оба о женах друг друга как-то перекрестно упоминали ласкательно: «Танюша», «Оленька»...

Они постоянно менялись заграничными панамками, курточками и маечками. Я не удивилась бы, если б узнала, что эти ребята живут в одном номере и спят валетом – это вполне бы вписывалось в их сдвоенный образ... Да если б и не валетом – тоже не удивилась бы.

Анжелла очень гордилась тем, что ей удалось залучить в Ташкент профессионалов такого класса. Я, правда, ни о том ни о другом ничего не слышала, но Анжелла на это справедливо, в общем, заметила, что я ни о ком не слышала, об Алле Пугачевой, вероятно, тоже...

– Что, скажешь, ты не видела классную ленту «Беларусьфильма» «Связной умирает стоя»?! – брезгливо спросила Анжелла.

Мне пришлось сознаться, что не видела.

– Ты что – того? – с интересом спросила она. – А «Не подкачай, Зульфира!» – студии «Туркменфильм», в главной роли Меджиба Кетманбаева?.. А чего ты вообще в своей жизни видела? – после уничтожительной паузы спросила она.

– Так, по мелочам, – сказала я, – Феллини-меллини... Чаплин-маплин...

– Снобиха! – отрезала она. (Когда она отвлеклась, я вытянула из сумки записную книжку и вороватым движением вписала это дивное слово.)

Выяснилось, что Стасик, оператор, как раз снимал фильм «Связной умирает стоя», а художник, Вячик, как раз работал в фильме «Не подкачай, Зульфира!».

По случаю «нашего полку прибыло» Анжелла закатила у себя грандиозный плов.

На кухне в фартуке колдовал над большим казаном Мирза: мешал шумовкой лук и морковь, засыпал рис, добавлял специи. На его худощавом лице с мягкой, покорно-женственной линией рта было такое выражение, какое бывает у пожилой умной домработницы, лет тридцать живущей в семье и всю непривлекательную подноготную этой семьи знающей.

Он был еще не сильно пьян, даже не качался, и мы с ним поболтали, пока он возился с пловом. Он рассказал о величайшем открытии, сделанном учеными буквально на днях, – что-то там с полупроводниками, – бедняга, он не знал, что рассказывать мне подобные вещи – все равно что давать уроки эстетики дождевому червю. Но я слушала его с заинтересованным видом, кивая, делая участливо-изумленное лицо. Не то чтобы я лицемерила. Просто мне доставляло безотчетное удовольствие следить за движениями его сноровистых умных рук и слушать его голос – он говорил по-русски правильно, пожалуй слишком правильно, с лекционными интонациями.

Вообще здесь он был единственно значительным и, уж без сомнения, единственно приятным человеком.

За столом ко мне подсел оператор, Стасик, и, дыша коньяком, проговорил доверительно и игриво:

– Я просмотрел ваш сценарий... Там еще есть куда копать, есть!

Я кивнула в сторону огромного блюда со струящейся желто-маслянистой горой плова, в которой, как лопата в свежем могильном холмике, стояла большая ложка, и так же доверительно сказала:

– Копайте здесь.

Он захохотал.

– Нет, правда, там еще уйма работы. Надо жестче сбить сюжет. Не бойтесь жесткости, не жалеете героя.

– Чтоб связной умирал стоя? – кротко уточнила я.

А через полчаса меня отыскал непотребно уже пьяный Вячик. Он говорил мне «ты», боролся со словом «пространство» и, не в силах совладать с этим трудным словом, бросал начатое, как жонглер, упустивший одну из восьми кеглей, и начинал номер сначала.

– А как ты мыслишь художесно... посра... просра... просраста фильма? – серьезно допытывался он, зажав меня в узком пространстве между сервировочным столиком и торшером, держа в правой руке свою рюмку, а левой пытаюсь всучить мне другую. – У тебя там в ссы... ссынарии... я просра... поср... простарства не вижу...

* * *

Целыми днями Анжелла с «мальчиками» – Стасиком, Вячиком и директором фильма Рауфом – «искали натуру». Они разъезжали на узбекфильмовском «рафике» по жарким пригородам Ташкента, колесили по колхозным угольям, по узким улочкам кишлаков.

Я не могла взять в толк – зачем забираться так далеко от города, создавая массу сложностей для съемок фильма, в то время как в самом Ташкенте, в Старом городе, зайди в любой двор и снимай самую что ни на есть национальную задушевную драму – хоть «Али-бабу», хоть «Хамзу», хоть и нашу криминальную белиберду.

Помню, я даже задала этот вопрос директору фильма Рауфу.

– Кабанчик, – сказал он мне проникновенно (он со всеми разговаривал проникновенным голосом и всех, включая директора киностудии, называл «кабанчиком», что было довольно странным для мусульманина). – Чем ты думаешь, кабанчик? Если не уедем, где я тебе командировочных возьму?

И я, балда, поняла наконец: снимая фильм в черте города, съемочная группа лишилась бы командировочных – 13 рублей в сутки на человека.

Раза два и меня брали с собой на поиски загородных объектов.

Для съемок тюремных эпизодов выбрали миленькую, как выразилась Анжелла, тюрьму, только что отремонтированную, с железными, переливающимися на солнце густо-зеленой масляной краской воротами.

Съемочная группа дружной стайкой – впереди какой-то милицейский чин, за ним щебечущая Анжелла в шортах, Стасик в кепи и с кинокамерой на плече, пьяный с утра Вячик, мы с Рауфом – прошвырнулась по коридорам пахнущего краской здания, энергично одобряя данный объект.

Нас дажепустили во внутренний – прогулочный – двор, при виде которого я оторопела и так и простояла минут пять, пока остальные что-то оживленно обсуждали.

Прогулочный двор тюрьмы представлял собой нечто среднее между декорацией к модернистскому спектаклю и одной из тех гигантских постмодернистских инсталляций, которые в западном искусстве вошли в моду лет через пять.

Это была забетонированная площадка, со всех сторон глухо окруженная бетонной высокой стеной, с рядами колючей проволоки над ней. Вдоль торцовой стены – как сцена – возвышался подиум с двумя ведущими к нему ступенями. На подиуме рядком стояли три новеньких унитаза, по-видимому, установленные на днях в ходе ремонта. Они отрадн сверкали эмалью под синим майским небом, свободным – как это водится в тех краях – от тени облачка.

Течет ре-еченька по песо-очечку,
бережочки мо-оет... –

послышалось мне вдруг. Запрокинув голову, я пересчитала взглядом зарешеченные окна вверху. Нет, показалось. Щелк ассоциативной памяти.

Ты начальникек, винтик-чайничек,
отпусти до до-ому...

– Ах, какие дивные парашаи! – воскликнул Вячик. – Задрапировать их, что ли! Под королевский трон! Под кресло генсека ООН!

И Стасик, вскинув камеру, принялся снимать постмодернистскую сцену с тремя унитазами...

После длительных поисков Анжелла и мальчишки остановили свой выбор на районном центре Кадыргач – была такая дыра в окрестностях Ташкента. Для съемок фильма на лето сняли большой, типично сельский дом с двориком, принадлежащий, кажется, бухгалтеру колхоза, и – для постоя всей съемочной группы – верхний этаж двухэтажной районной гостиницы «Кадыргач».

Стояла жара – еще не пыльный августовский зной, а душный жар середины мая. Не знаю, какую культуру, кроме хлопка, выращивал колхоз «Кадыргач», но в местной гостинице и закрытой столовой обкома, куда нас однажды по ошибке пустили пообедать (потом опомнились и больше уже не пускали. Смутно помню очень мясные голубцы по двенадцать копеек порция, жирный плов и компот из персиков), – во всем этом благословенном пригороде произрастали, реяли, парили, зависали в плывущем облаке зноя и, кажется, охранялись обществом защиты животных зудящие сонмища мух.

Гостиница производила странное впечатление. Первый этаж – просторный, с парадным подъездом, с мраморными панелями и полом и даже двумя круглыми колоннами в холле – выглядел вполне настоящим зданием. Второй же этаж казался мне декорацией, спешно возведенной к приезду съемочной группы. Это были узкие номера по обеим сторонам беззаконного и оттого вечно темного коридора, разделенные между собой тонкими перегородками.

Впрочем, в номере оказался унитаз – удобство, о котором я и мечтать не смела. Унитаз был расколот сверху донизу – то ли молния в него шарахнула, то ли ядрами из него палили, – но трещину заделали цементом, и старый ветеран продолжал стойко нести свою невеселую службу.

Анжелла сняла «люкс» в противоположном конце коридора – две смежные комнатки с такой же командировочной мебелью. В гостиной, правда, стояло несколько кресел образца куцевого дизайна шестидесятых годов.

Вокруг Анжеллы крутились пять-шесть девочек от восемнадцати до шестидесяти лет – костюмерши, гример, ассистентки. Появился второй режиссер фильма Толя Абазов – образованный, приятный и фантастически равнодушный ко всему происходящему человек, – он единственный из всей группы не имел претензий к моему сценарию, поскольку не читал его.

(Кажется, он так и не прочел его никогда. За что я до сих пор испытываю к нему теплое чувство.)

Первые дни в «люксе» шли репетиции – сидя в кресле и разложив на коленях листки сценария, Анжелла лениво отщипывала по сизой виноградине от тяжелой кисти. Репетировали небольшой эпизод из середины фильма.

Если до того рухнули все мои представления о работе режиссера над сценарием, то сейчас полетело к черту все, что я знала и читала когда-либо о работе режиссера с актерами.

С утра Толя Абазов привозил из Ташкента в «рафике» двух студентов Театрального института, занятых в эпизоде. Один репетировал роль уловника, другой – роль лейтенанта милиции.

Оба мальчика выглядели если не близнецами, то уж во всяком случае родными братьями. Текста сценария оба, естественно, не знали, и, как выяснилось, к актерам никто и не предъявлял подобных вздорных требований. А я, как на грех, почему-то нервничала, когда вместо текста актер нес откровенную чушь. Эта моя реакция неприятно меня поразила. Я была уверена, что мое авторское самолюбие благополучно издохло, но выяснилось, что оно лишь уснуло летаргическим сном и сейчас зашевелилось и замычало.

– Не психуй, – раздраженно отмахивалась Анжелла. – Мы же потом найдем укладчицу!

Слово «укладчица» вызывало в моем воображении грузных женщин в телогрейках, с лопатами, выстроившихся вдоль полотна железной дороги, а также шпалы, рельсы, тяжело несущиеся куда-то к Семипалатинску поезда...

– Толя, что значит – «найдем укладчицу»? – тревожным полусшепотом спросила я у Абазова.

Тот посмотрел на меня безмятежным взглядом и проговорил мягко:

– Приедет блядь с «Мосфильма». Заломит цену. Ей дадут. Она всем даст. Потом будет сидеть, задрав ноги на кресло, и сочинять новый текст в соответствии с артикуляцией этих ферганских гусаров.

– Как?! – потрясенно воскликнула я. – А... а сценарий!! А... все эти инстанции?! «Образ героя не отвечает»?!

Он нагнулся к блюду с фруктами и, оторвав синюю гроздку, протянул мне:

– Хотите виноград?..

Буквально репетиции проходили так.

– Тыходишь оттуда, – приказывала Анжелла одному из мальчиков, репетирующему роль подследственного. – А ты стоишь там, – указывала она пальцем мальчику, репетирующему роль следователя.

– Да нет, Анжелла, нет!! – взвизвался оператор Стасик, который с самого своего приезда ревностно выполнял обязанности Старшего Собрата по творчеству. – Куда это годится, ты

разрушаешь всю пространственную концепцию. Это он, наоборот, должен стоять там, а тот – выходить оттуда! Это ж принципиально разные вещи!

Потоптавшись у дверей, мальчик, репетирующий подследственного, делал нерешительный шаг в сторону окна, где стоял его товарищ, репетирующий следователя, и говорил неестественно бодрым голосом:

– Здорово, начальник! Вызывал?

– Там нет этого идиотского текста!! – вопила я из своего угла. – Почему вы не учите роль?!

– Отстань, придет укладчица, всех уложит, – огрызалась Анжелла. – Не мешай репетировать. Сейчас главное – как они двигаются в мизансцене. А ты не стой, как козел! – обращалась она к мальчику. – Ты нахальной так: «Здорово, начальник! Вызывал?»

– Учите роль, черт возьми! – нервно вскрикивала я.

– Нет-нет, Анжелла, я принципиально против этой мизансцены! – Стасик вскакивал с кресла – атласно выбритый, в белом кепи и белой маечке с картинкой на груди – задранные женские ножки – и надписью по-английски: «Я устала от мужчин». – Он должен стоять вот здесь, повернувшись спиной к вошедшему, и когда тот входит и говорит: «Здорово, начальник, вызывал?» – поворачивается...

– И камера наезжает, – подхватывала Анжелла, – и глаза крупным планом... Ну, пошел, – предлагала она несчастному студенту, – оттуда, от дверей...

– Здорово, начальник! Вызывал? – вымученно повторял мальчик, косясь на Анжеллу.

– Да не так, не так, более вкрадчиво: «Здорово, начальник, вызывал?»

– Здорово, нача-альник...

– Нет. – Анжелла откидывалась в кресле, сидела несколько мгновений, прикрыв глаза, потом говорила мне устало: – Покажи ему, как надо.

Я шла к двери, открывала и закрывала ее, делая вид, что вошла, скраивала на лице ленивое и хитрое выражение, одергивала воображаемую рубашу, рассматривала воображаемые сандалии на грязных ногах – и столько интеллектуальной энергии уходило у меня на эти приготовления, что когда я наконец открывала рот, то говорила приветливо и лукаво, как актер Щукин в роли Ленина:

– Здорово, начальник! Вызывал?..

* * *

После того как на главную роль в фильме был утвержден Маратик, я перестала интересоваться актерами, приглашенными на роли остальных героев.

Толя Абазов съездил в Москву и привез двух актеров, кажется – Театра Советской Армии. Один должен был играть Русского Друга, впоследствии убитого уголовной шпаной (трагическая линия сценария), второй, маленький верткий армянин с печальными глазами, играл узбекского дедушку главного героя (комическая линия сценария). Ребята были бодрые, по-столичному ироничные и всегда поддаты. Они приехали подзаработать и поесть фруктов и шашлыков.

На роль бабушки главного героя (лирическая линия сценария) привезли из Алма-Аты народную артистку республики Меджибу Кетманбаеву – плаксивую и вздорную старуху со страшным окаменелым лицом скифской бабы. Она затребовала высшую ставку – 57 рублей за съемочный день, «люкс» в гостинице и что-то еще невообразимое – кажется, горячий бешбармак каждый день.

Директор фильма Рауф приезжал увещевать бабку.

– Кабанчик, – говорил он ей плачущим голосом, – ты ж нас режешь по кусочкам! Где я тебе бешбармак возьму, мы ж и так тебе народную ставку дали. Кушай народную ставку, кабанчик!

(В конце концов она повздорила с Анжеллой и уехала, не доснявшись в последних трех эпизодах. Я, к тому времени совсем обалдевшая, вяло поинтересовалась, что станет с недоснятыми эпизодами.

– Да ну их на фиг, – отозвалась на это повеселевшая после отъезда склочной бабки Анжелла. – Вот приедет укладчица, она всех уложит...)

В один из этих дней Анжелла с гордостью сообщила, что музыку к фильму согласился писать не кто иной, как сам Ласло Томаш, известный композитор театра и кино.

Дальше следовала насторожившая меня ахиня: будто бы Ласло Томаш, прочитав наш сценарий, пришел в такой восторг, что, не дождавшись утра, позвонил Анжелле ночью.

– Не веришь? – спросила Анжелла, взглянув на мое лицо. – Спроси сама. Он приезжает сегодня и в три часа будет на «Узбекфильме».

Мы околачивались на студии – подбирали костюмы, смотрели эскизы Вячика к фильму. Основной его художественной идеей была идея драпирования объектов. Всех.

– Драпировать! – убеждал он Анжеллу. Это было единственное трудное слово, которым он владел в любом состоянии. – Драпирование – как мировоззрение героя. Он – в коконе. Весь мир – в коконе. Складки, складки, складки... Гигантские складки неба... гигантские складки гор...

– Слушай, где небо, где горы? – слабо отбивалась Анжелла. – Главный герой – следователь милиции. Маратик не захочет драпироваться.

Между тем было, было что-то в этой идее, которой посвятил свою жизнь Вячик. В первые дни Анжелла, обычно подпадавшая под очарование творческих идей свежего человека, дала ему волю. И наш художник всего за несколько часов до неузнаваемости задрапировал дом главного бухгалтера: развесил по стенам, по люстрам, по стульям какие-то дымчатые прозрачные ткани. Все эти воздушные шарфы и шлейфы колыхались и нежно клубились в струях сквозняков. А поскольку левое крыло дома осталось обитаемым и по двору время от времени сновали какие-то юркие молчаливые женщины – дочери, невестки, жены бухгалтера, – то все это сильно смахивало на декорации гарема.

Правда, в первый день съемок, примчавшись на гремящем мотоцикле, Маратик навел порядок на съемочной площадке. Он посрывал все драпировки мускулистой рукой каратиста, покрикивая:

– Оно по голове меня ползает! Я что – пидорас, что ли, в платочках ходить?

И директор фильма Рауф успокаивал полуобморочного Вячика:

– Кабанчик, ну не скули – какой разница, слушай – тряпка туда, тряпка сюда... Все спишем, кабанчик!

В три мы спохватились, что забыли позвонить на проходную, заказать пропуск для Ласло Томаша, а на проходной сидел-таки вредный старикашка. Вернее, он не сидел, а полулежал за барьером на сдвинутых стульях, накрытых полосатым узбекским халатом, и весь день пил зеленый чай из пиалы. Старик то ли притворялся, то ли действительно находился в крепкой стадии склероза, только он совсем не помнил лиц, ни одного. Он не помнил лица директора студии. Но обязанности свои помнил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.